
АЛЕКС НОРВЕЛ
НОЛЬ

Алекс Норвел
Ноль

https://litres.ru/74795282
SelfPub; 2026

Аннотация

После обрушения на стройке сметчик Арвид несколько часов лежит под завалом рядом с умирающим рабочим. Его достают живым — и с тех пор он видит над каждым человеком серое число. Число не врёт: столько людей по-настоящему заплачет на твоих похоронах. У матери — сорок. У жены — двенадцать. У лучшего друга — семь. Над самим Арвидом — ноль.

Человек, привыкший пересчитывать бетон и чужие ошибки, составляет смету: как стать тем, о ком будут плакать. Цветы без повода, донорская кровь, спасение утопающего, новые привязанности. Его число не двигается. Зато числа тех, кого он любит, начинают падать.

Мрачный, язвительный и пронзительный роман о любви, которую нельзя посчитать, и о цене попытки это сделать.

Содержание

Глава 1. Завал 5
Глава 2. Палата 25
Глава 3. Единица 42
Глава 4. Полный зал 57
Глава 5. Кто придёт 73
Конец ознакомительного фрагмента. 90

Ноль

Ноль

Глава 1. Завал

Под бетоном время считают по дыханию. Своё я досчитал до четырёх тысяч, потом сбился.

Во рту штукатурка. Или бетон. По вкусу определить нельзя, хотя в работе разница существенная. Я двигаю языком вдоль нижних зубов. Слева что-то острое. Осколок зуба или камешек. Выплюнуть не получается: губы почти касаются рукава.

Правая рука подо мной. Левой я могу шевелить. Для начала этого достаточно. Я провожу ладонью над лицом и сразу упираюсь в шершавую поверхность. Между носом и бетоном сантиметров пятнадцать. Если не учитывать выступ.

Выступ я учитываю. На лбу уже есть кровь.

Левая нога лежит свободно, немного ниже туловища. Правая зажата. Над коленом давит арматура. Я знаю это потому, что могу нащупать её через разорванную ткань. Ребристый стержень, толщину пальцами не определить. Дальше он уходит под плиту.

Ботинка я не чувствую.

Сначала пытаюсь пошевелить пальцами. Потом представляю, что шевелю. Результат одинаковый.

Где-то капает вода. С интервалами от шести до девяти секунд. Я пробую считать по ней, но вода ненадёжная. Иногда две капли идут подряд. Иногда долго ничего.

Часы на правом запястье. Посмотреть невозможно. Телефон в правом кармане куртки. Карман тоже подо мной. Все средства измерения собраны с одной стороны, как будто кто-то заранее готовит этот опыт.

Я пытаюсь вытащить руку.

Боль приходит из плеча и заканчивается в зубах. На секунду становится светлее, хотя света здесь нет.

Больше не тяну.

— Эй.

Я произношу это тихо. Получается сипение. Прочищаю горло, и пыль сдвигается внутри, будто у неё отдельное помещение.

Кашлять негде. Каждый толчок поднимает грудь к бетону.

— Здесь кто-нибудь есть?

Ответ приходит справа.

— Не ори.

Мужской голос. Близко. Между нами может быть полметра, а может быть три. Бетон меняет расстояния без согласования.

— Я не ору.

— Тогда не начинай.

Я жду, пока он скажет ещё что-нибудь. В темноте слышно его дыхание. На выдохе слегка свистит.

— Ты рабочий?

— Нет. Квартиру посмотреть пришёл.

Он кашляет. Сухо, коротко. Потом сплёвывает.

— Рабочий. Томаш.

— Арвид.

— Знаю.

Я пытаюсь вспомнить лицо. Утром у лестницы стояло несколько человек. Один придерживал ногой лист утеплителя, пока другой резал его ножом. У одного была оранжевая шапка под каской. У другого — пластырь на подбородке. Томаш может быть любым из них.

— Сметчик, — говорит он.

— Да.

— Ну вот.

В этих двух словах есть претензия, но я пока не понимаю, к чему именно.

Утром я приехал к восьми сорока. На площадке стояла вода. В колеях, на плёнке, внутри перевёрнутой каски у бытовки. Октябрь ещё не закончился, а свет был уже такой, будто день списали.

Прораб встретил меня у ворот. На нём был чистый жилет поверх грязной куртки. Бумажный стакан он держал двумя руками.

— Там всё по ведомости.

— Тогда быстро закончим.

На третьем этаже нужно было сверить объём кладки и площадь перекрытия. В документах были лишние восемнадцать квадратных метров. Не кража. Пока просто восемнадцать метров, которых я не нашёл на плане.

Прораб предложил начать с бытовки. Там тепло, можно разложить бумаги. Я сказал, что сначала посмотрю наверху. В тепле отсутствующие метры иногда появляются сами. Обычно рядом с подписью.

Я надел каску. Подбородочный ремень был липкий. Регулировка рассчитана на человека с более содержательной головой. Я затянул её на два деления.

У лестницы рабочий попросил нас подождать. Через проход несли длинную сетку. Мы стояли у стены, прораб пил кофе. На баннере за ограждением были нарисованы окна с жёлтым светом. В одном окне женщина держала ребёнка. До земли от её подоконника около двадцати метров, ограждения нет. Художник экономит на безопасности раньше подрядчика.

Потом мы поднялись.

В помещении пахло мокрой древесиной. На полу лужи, у стены сложены блоки. Я открыл папку. На бумаге сразу осталась капля с рукава. Прораб говорил что-то про изменение проекта. Я попросил показать изменение.

Сверху раздался треск.

Не громкий. Так ломается сухая планка под ногой.

Прораб посмотрел вверх. Я посмотрел на него, потому что он знал объект лучше.

Пыль выстрелила из стыка у колонны.

Я успел закрыть папку. Зачем-то успел именно это.

Потом пол ушёл из-под правой ступни. Край стены повер-

нулся ко мне. В каску ударило что-то тяжёлое, ремень дёрнул за подбородок. Я упал на бок и попытался прикрыть голову папкой. Листы раскрылись. На одном я увидел собственную пометку: «Уточнить».

Дальше нет последовательности. Удар. Воздух с крошкой. Чужой крик, который оборвался раньше, чем я понял слова.

Теперь надо мной пятнадцать сантиметров.

— У тебя телефон есть? — спрашиваю я.

— Есть.

— Можешь достать?

— Не здесь.

— Где?

— В шкафчике.

Я сглатываю. Слюны мало. Она склеивает пыль, и во рту становится теснее.

— Мой в кармане. Не могу повернуться.

— Не поворачивайся.

— Я пробовал.

— Я слышал.

Томаш дышит через нос. Потом несколько раз через рот. Я слушаю, как он выбирает способ, при котором меньше болит.

— Что у тебя зажало?

— Ногу. А у тебя?

— Тут придавило.

— Где?

— Везде понемногу.

Я осторожно веду левой рукой в его сторону. Пальцы находят щебень, что-то гладкое, обрывок плёнки. За ним щель. В неё входят четыре пальца. Кисть уже не проходит.

— Я тебя не достаю.

— А надо?

Я убираю руку.

Из-под рукава сыплется мелкая крошка. Несколько частиц попадают за ворот. По сравнению с ногой это пустяк, но именно ворот хочется поправить немедленно.

— Кто-нибудь знает, что ты наверху? — спрашиваю я.

— Знает.

— Значит, будут искать.

— Ты у них в списке?

У прораба есть журнал посетителей. Я не расписался. Он сказал: на обратном пути. Я согласился, потому что на обратном пути всё равно идти мимо бытовки.

— Машина у ворот.

— Хорошо.

Томаш произносит это серьёзно. Моей машине сейчас доверия больше, чем мне.

Сверху доносится глухой удар. Потом ещё два. Я задерживаю дыхание. На щёку падает пыль.

— Слышишь?

— Слышу.

Я кричу. Голос выходит тоньше, чем нужно. Кричу ещё

раз. Томаш не присоединяется.

Несколько секунд мы ждём. Удары не повторяются.

— Могло само, — говорит он.

Я знаю. В ведомостях это называется остаточным обрушением. Здесь можно короче.

Я подношу ладонь ко рту и дышу через ткань рукава. Ткань мокрая. Не понимаю, от воды или от крови. Воздух проходит хуже, зато меньше песка на зубах.

— Ты футбол смотришь? — спрашивает Томаш.

— Иногда.

— В субботу смотрел?

— Нет.

— Тогда не смотри. Если запись есть.

— Плохо сыграли?

— На семьдесят третьей он снимает нападающего. Единственного, который хоть куда-то бежит. Выпускает защитника.

Я молчу. Томаш ждёт ответа.

— Удерживал счёт?

— Ноль — один. Они проигрывали.

— Тогда странно.

— Странно. А ему платят.

Он говорит увереннее. Свист на несколько фраз пропадает. Я пытаюсь устроить голову так, чтобы слушать было удобнее, и ухом ложусь в холодную грязь.

— Сколько? — спрашиваю я.

— Что сколько?

— Платят.

— Откуда я знаю. Много.

— Иногда это существенно.

— Ну, напиши ему письмо.

Я представляю письмо. Прошу уточнить необходимость защитника при дефиците одного гола. Приложение: девяносто минут бесполезных работ.

Томаш шевелится. Из его стороны приходит скрежет, затем короткое ругательство.

— Не двигайся, — говорю я.

— Да я уже понял.

Он долго не говорит. Я считаю свои вдохи до шестидесяти. На сорок втором пропускаю число и начинаю заново. Это раздражает сильнее, чем должно.

Нога сначала горит. Потом в ней появляется ровная тяжесть. Я нажимаю большим пальцем на бедро выше арматуры. Чувствую ноготь. Ниже не дотянуться.

— Каска на тебе? — спрашивает Томаш.

— Не знаю.

Я трогаю затылок. Пальцы находят пластик, съехавший набок. Ремень под ухом.

— На мне.

— Хорошо.

— У тебя?

— Была.

— Головой ударился?

— Ты всё записываешь?

Я смотрю перед собой. Темнота остаётся одинаковой, сколько ни смотри.

— Нет.

— Тогда поговорим о чём-нибудь другом.

Он просит не сразу. Сначала набирает воздух, словно у просьбы есть вес.

— О чём?

— Не знаю. Что сколько стоит. Ты же умеешь.

— Что именно?

— Хлеб.

Я называю цену в магазине у дома.

— Это какой?

— Ржаной. Нарезанный.

— За буханку?

— За половину.

— Вот сволочи.

Некоторое время он разбирается с этой ценой. Спрашивает вес. Я не знаю. Четыреста граммов, возможно, триста пятьдесят. Он требует определиться. Я вспоминаю пакет, прозрачное окошко, белую наклейку. Вижу всё, кроме веса.

— Ты точно сметчик?

— На хлеб у меня нет ведомости.

— Заведи.

Он говорит, что покупает целый и режет сам. Нарезанный

дороже и сохнет по краям. Потом спрашивает, сколько стоят яйца. Я знаю цену упаковки из десяти. Он покупает шесть. Мы приводим к одной штуке. У него получается дешевле.

— Видишь, — говорит он.

— Далеко магазин?

— Две остановки.

— Если ради яиц, дороже выйдет.

— Я пешком.

Я хочу спросить, сколько он оценивает своё время. Вопрос уже готов, привычный, с ответом внутри. Вместо этого я облизываю губы. Верхняя треснула. На языке появляется кровь, и я некоторое время занят только ею.

Томаш спрашивает, есть ли у меня вода.

Я ощупываю левый карман. Ключи, сложенный чек. Воду я оставил в машине. Небольшая бутылка лежит в дверце, рядом со скребком для льда. Утром я посмотрел на неё и решил не брать: на объекте десять минут.

— Нет.

— Ладно.

— У них должна быть. Когда придут.

— Да.

Я подвигаю язык к щеке, где ещё остаётся немного слюны. Делиться нечем.

Снаружи что-то гудит. Низкий звук проходит через бетон и дрожит в скуле. Я снова кричу. На этот раз Томаш тоже подаёт голос. Только один раз.

Мы слушаем.

Гул то исчезает, то возвращается. Может быть, техника. Может быть, у меня в ушах. Я прижимаю ладонь к поверхности над лицом. Холодная, неподвижная.

— Сюда! — кричу я.

Потом приходится кашлять. В груди что-то царапает. Я не могу остановиться и бьюсь затылком о каску. Томаш говорит: «Тише». Не сердито. Несколько раз.

Когда кашель проходит, я лежу с открытым ртом.

— На площадке… — начинает он.

Я жду.

— Здесь двор будет. Видел картинку?

— У ворот?

— Нет. На стенде. Между корпусами.

— Не смотрел.

— Там горка. Жёлтая. И эта штука, где крутятся.

— Карусель.

— Ну да. Теперь другие делают. Вровень с землёй. Ногой толкаешь.

Он замолкает. Я слышу, как у него щёлкает при глотке.

— Резиновое покрытие, — говорю я. — Сто восемьдесят шесть квадратных метров.

— Даже это знаешь.

— Я его считал.

— А горку?

— Оборудование отдельной поставкой.

— Удобно.

Я не отвечаю.

— У нас во дворе была железная. Летом задницу обожжёшь. Зимой язык можно оставить. И внизу яма. Все съезжают в одну яму.

— Дренаж плохой.

— Просто яма, Арвид.

Он впервые произносит моё имя. Я перестаю трогать арматуру.

— Понял.

— Качели ещё. Одно сиденье всё время перекручено. Кто-нибудь обязательно накинет его на верхнюю трубу. Потом стоишь, как дурак, тянешь цепь.

Ему не хватает воздуха на последнее слово. Он делает паузу посреди него и заканчивает после вдоха.

Я говорю, что помню такие качели. Он спрашивает, были ли у нас деревянные сиденья. Я отвечаю: резиновые. Он не верит. Я объясняю, что там был кусок толстой резины на двух болтах.

— Воровали, наверное, — говорит он.

— Что?

— Деревянные. Вот и поставили.

— Возможно.

Разговор кончается на болтах.

Теперь его вдохи слышны лучше. Или мои становятся тише. Я подстраиваюсь под него, несколько раз дышу одновре-

менно. Потом не хватает воздуха, и я сбиваюсь.

Левая ступня мёрзнет. Я сгибаю свободную ногу и упираюсь подошвой в обломок. Хочу чуть приподнять таз, снять давление с правой руки. Подо мной хрустит. Над лицом что-то сдвигается и сыплет в глаза.

Я замираю.

— Что ты делаешь? — спрашивает Томаш.

— Руку.

— Не надо.

— Она затекла.

— Оставь.

Я оставляю. Глаза закрыты, но под веками всё равно песок. Слеза стекает к уху и там остывает.

— Ты здесь? — спрашиваю я спустя какое-то время.

— Куда я денусь.

— Мало ли.

— Нет уж.

Я слышу слабый стук. Два раза, пауза, ещё раз.

— Это ты?

— Что?

Стук повторяется. Дальше, чем его голос. Я кричу и жду. Сверху теперь доносится что-то похожее на слова. Я не могу разобрать ни одного, но у слов есть человеческий ритм. Кто-то говорит, другой перебивает.

— Нас слышат, — говорю я.

Томаш молчит.

— Томаш.

— Слышу.

— Нужно отвечать.

— Отвечай.

Я стучу ключами по бетону. Ключи неудобно держать: большой от квартиры, маленький от кладовки, автомобильный брелок. Брелок попадает под пальцы. Я сдвигаю его и бью снова. Металл звенит слабо. На четвёртом ударе сдираю костяшку.

Сверху кричат. Теперь я различаю: «Есть кто?»

— Двое! — отвечаю я. — Здесь двое!

Пауза.

— Не двигайтесь!

Я смотрю в темноту у носа. Указание выполнимое.

— Слышал? — говорю я Томашу.

— Да.

— Сейчас достанут.

— Не сейчас.

— Начнут.

Он долго дышит, прежде чем ответить.

— Да.

Наверху скребут. Потом просят тишины. Я замолкаю, хотя не понимаю, относится ли просьба ко мне. Вокруг тоже становится тихо. Без ударов дыхание Томаша кажется слишком громким.

Я хочу сказать спасателям, где он лежит. Кричу про пра-

вую сторону. Меня спрашивают, могу ли я двигать руками. Отвечаю про одну. Просят прикрыть лицо.

Я натягиваю рукав на нос и лоб. Пальцы держат край ткани. Остаётся щель для воздуха. Над нами начинают работать.

Каждый удар приходит в зажатую ногу. Не болью — толчком внутри боли. Я кусаю рукав.

— Арвид.

— Что?

— Не надо им говорить.

— Чего?

— Сейчас. Подожди.

Я слушаю. Томаш дышит часто, неглубоко. Словно бережёт место в груди.

— Обо мне никто не заплачет.

Наверху что-то металлическое волочат по камню.

— Ты откуда знаешь? — спрашиваю я.

— Знаю.

— Потом разберёшься.

— Да мне не…

Он останавливается. Я жду окончания. Его нет.

— Томаш, слушай. Они уже здесь.

— Слышу.

— Нужно сказать, что тебе тяжело дышать.

— Не ори пока.

Я не ору. Наверху снова стучат, и я жду паузы, чтобы меня услышали. Пока считаю его вдохи.

Один. Два. Три.

На четвёртом он втягивает воздух со свистом. На пятом кашляет. Кашель считать не надо. Я начинаю сначала.

— У меня нога зажата, — говорю я ему. — Не могу до тебя добраться.

Он не отвечает.

— Но они могут. Сверху.

Шесть. Семь.

Между седьмым и восьмым я успеваю дважды вдохнуть сам.

— Томаш.

Восемь.

Мне кажется, он пытается что-то сказать. Я оттягиваю рукав от уха, хотя ухо и так открыто.

— Что?

Девять.

Я протискиваю пальцы в щель справа. Теперь глубже. Кожа цепляется за острый край. До запястья не хватает места. Я разворачиваю ладонь ребром, давлю. Камень упирается в основание большого пальца.

— Ещё один человек! — кричу я. — Справа от меня! Ему плохо!

Работа наверху прекращается.

— Он отвечает?

— Томаш!

Десять.

Долгий выдох. В самом конце тихий звук, почти недовольный. Так человек выдыхает, когда наконец опускает тяжёлую сумку.

Я жду одиннадцатого.

Наверху задают вопрос. Я прошу подождать.

Считаю до десяти. Не вдохи. Просто числа. Потом ещё раз.

— Томаш, они спрашивают.

Из темноты справа капает вода.

Я вытаскиваю кисть, снова просовываю. Той же ширины рука. Та же щель. На этот раз я давлю сильнее, пока ноготь не скребёт по бетону с другой стороны.

Ничего не нащупываю.

— Он отвечает? — повторяют сверху.

— Нет.

— Вы его видите?

— Нет.

— Сами дышите нормально?

Я набираю воздух. Пыль цепляется к горлу.

— Да.

Работа начинается снова. Быстрее или просто громче. Я держу руку в щели, пока пальцы не сводит. Потом кладу её перед лицом.

На ладони лежит маленький кусок плёнки. Я всё-таки его оторвал. Растираю между большим и указательным пальцами. Он сворачивается в плотную трубочку.

Мне нужно сказать, что вдохов больше нет. Но наверху заняты. Я открываю рот и жду, когда прекратится скрежет.

Вместо тишины появляется свет.

Тонкая полоска ложится на рукав. В ней плавает пыль. Полоска двигается, касается моих пальцев, уходит. Я тянусь за ней рукой.

— Вижу! — кричат сверху. — Руку уберите!

Я убираю.

Отверстие расширяется. В него проходит луч фонаря. Он бьёт прямо в глаз, и я поворачиваю голову, стукаюсь лбом о выступ. Теперь вижу его: серый край с белым сколом. Всё это время он находится в двух пальцах от моего виска.

В отверстии появляется перчатка.

— Как вас зовут?

— Арвид.

— Арвид, на меня смотрите.

Я вижу защитные очки, переносицу, край каски. Остальное закрывает бетон.

— Второй справа, — говорю я.

— Знаем. Сколько вас было рядом?

— Здесь двое.

— Хорошо. Сейчас будем освобождать вам ногу. Не помогайте.

Я пытаюсь указать, куда уходит арматура. Человек уже не смотрит в отверстие. Он говорит с кем-то за спиной. В его словах размеры, инструмент, порядок действий. Я понимаю

почти всё и не могу удержать ни одного слова.

Мне закрывают лицо тканью. Чужая ладонь на секунду касается щеки.

— Стекла нет? — спрашивают где-то сверху.

— Здесь бетон.

— Принял.

Я хочу попросить воды, но начинается резкий визг. Бетон под головой дрожит. Я прижимаю язык к нёбу. Томаша теперь не услышать, даже если он дышит.

Визг обрывается.

Кто-то просит ещё немного поднять. Считают до трёх. На двух моя нога просыпается целиком.

Я кричу в ткань.

— Стоп. Держим.

Меня спрашивают, где больно. Я не могу выбрать место. Говорю: «Нога». Спрашивают, как зовут. Я уже отвечал, но отвечаю снова. Возраст. Сорок один. Аллергия. Не знаю. То есть нет. Кажется, нет.

Под плечо проходит рука. Потом под спину что-то жёсткое. Меня поворачивают на несколько сантиметров. Правая рука выскальзывает из-под тела, чужая, тяжёлая. Вместе с ней выдвигается телефон. Экран треснут, но на нём загорается свет.

— Телефон, — говорю я.

Кто-то кладёт его мне на живот.

Сверху становится холодно. Воздух касается лба. Я по-

нимаю, насколько он холодный, пока не начинает трястись подбородок.

— Ещё раз. На три.

Я успеваю сказать про Томаша. Только имя. Дальше меня тянут, и край плиты медленно проходит мимо лица.

Надо мной открывается мокрое небо. Поперёк него идёт стрела крана. Вокруг стоят люди в касках. Один держит мою ногу, второй — щит у изголовья. Кто-то просит отойти и дать место.

Я поворачиваю голову к чёрному отверстию.

— Там ещё один.

Человек у моего плеча прижимает ладонь к ремню, которым меня закрепляют.

— Не поднимайте голову.

Двое с фонарями опускаются туда, откуда меня только что вытащили. Щит подо мной отрывается от земли.

Глава 2. Палата

На белом потолке нет трещин. Я проверяю дважды. Потом пытаюсь повернуть голову, и потолок едет влево.

— Не торопитесь.

Женщина в синей форме придерживает меня за плечо. Над её головой висит девятка.

Тонкая, серая. Как на старом электронном табло, когда подсветка уже работает, а цифры ещё нет. Я закрываю глаза. Открываю. Девятка остаётся.

Слева от кровати стоит металлическая стойка. На ней прозрачный пакет. Трубка от пакета приходит в мою руку. На пальце прищепка с красным огоньком. Всё подключено без моего участия.

— Где болит?

Я пробую определить границы.

— Нога.

— Ещё?

— Голова.

— Тошнит?

— Пока нет.

— Если начнёт, сразу скажите.

Медсестра поправляет край одеяла. Девятка движется вместе с ней. Я перевожу взгляд на лампу, потом обратно. Возможно, отражение от какого-нибудь прибора. Здесь до-

статочно оборудования, чтобы поставить световой эффект без отдельного согласования.

— Как вас зовут?

Я отвечаю.

— Какой сейчас месяц?

— Октябрь.

— Что произошло, помните?

— Перекрытие.

Она ждёт.

— Обрушилось.

— Хорошо.

С медицинской точки зрения, видимо, хорошо. В моей профессии формулировка спорная.

Она подносит ко рту пластиковый стаканчик. Воды на два глотка. Первый я почти целиком проливаю на подбородок. Она вытирает его салфеткой, не меняя выражения лица. На второй глоток я уже лучше подготовлен.

— Ещё.

— Через несколько минут.

В стаканчике у неё в руке воды больше, чем мне дали. Редкий случай, когда остаток материала вызывает личную обиду.

— Рука работает? — спрашивает она.

Я шевелю правыми пальцами. Кисть отзывается с задержкой. На запястье пластиковый браслет. Часы сняты.

— Сожмите.

Она подставляет два пальца. Я сжимаю.

— Теперь отпустите.

Это получается лучше.

Она записывает что-то в лист, прикреплённый к спинке кровати. Девятка опускается вместе с её головой, но не наклоняется. Ни на стене, ни на подушке тени от неё нет.

— У меня в глазах…

Медсестра поднимает взгляд.

— Двоится?

— Не совсем.

— Расплывается?

— Иногда.

Это правда. Всё расплывается, когда я поворачиваю голову.

— Врач подойдёт. Пока лежите спокойно.

Она отходит к соседней кровати. Я вижу её затылок, карман с ручкой, девятку. На кармане ничего не блестит. На затылке тоже.

Потом я засыпаю, не успев решить, откуда падает свет.

Когда открываю глаза снова, Сельма сидит справа.

Пальто на ней расстёгнуто. Шарф лежит на коленях, один конец касается пола. На ботинках засохла грязь. Она держит мою левую руку обеими своими, но смотрит в сторону двери.

Над ней двенадцать.

Две цифры помещаются рядом, не касаясь друг друга. Я опускаю глаза не сразу.

— Ты давно здесь?

Она сразу поворачивается.

— Смотря с какого раза считать.

Голос обычный. Немного тише, чем дома.

— Который час?

— Почти шесть.

За окном темно. Это ничего не уточняет.

— Вечера?

— Да.

Она проводит большим пальцем по костяшке моего указательного. Останавливается на содранной коже.

— Не трогай, — говорю я.

Она убирает палец, но руку не отпускает.

На стуле у стены стоит бумажная сумка. Из неё торчит рукав моей домашней кофты. Сельма замечает, куда я смотрю.

— Принесла вещи. Щётку. Зарядку. Телефон у тебя в тумбочке.

— Работает?

— Работает. Стекло только…

— Я знаю.

Она кивает. Под глазами у неё тёмные полосы. На верхней губе шелушится кожа. Я знаю этот участок: зимой она иногда сдирает его зубами, когда работает над мелким повреждением переплёта.

— Ты ела?

— Да.

— Что?

— Арвид.

Я жду.

— Булку. Внизу.

— Здесь дорого.

— Я заметила.

У неё трескается губа. Сельма касается её языком, отворачивается и достаёт из кармана салфетку. Двенадцать смещается следом, такая же прямая. Цифры видны над волосами, хотя между ними и лампой теперь её голова.

Я отпускаю взгляд ниже.

— Что с ногой?

— Врач сам объяснит.

— Он тебе говорил?

— Говорил. Но я могу что-нибудь перепутать.

— Перелом?

— Нет.

Я шевелю пальцами под одеялом. Большой палец поднимает ткань. Остальные, кажется, тоже участвуют.

— Значит, ходить смогу.

— Он не сказал, что завтра.

Она поправляет шарф на коленях. Поднимает конец с пола и складывает сверху. Потом снова берёт меня за руку.

— Сколько я здесь?

— Тебя привезли вчера.

Между мокрым небом и этим потолком помещается ночь.

Её у меня нет. По краям остаются отдельные куски: кто-то разрезал штанину, от меня требовали не засыпать, а потом требовали лежать тихо. Требования могли исходить от разных подрядчиков.

— Ты с работы приехала?

— Да.

— Кто позвонил?

— Из больницы.

— Телефон был заблокирован.

— Арвид, я здесь.

Она произносит это без нажима. Я замолкаю.

В коридоре катят тележку. Одно колесо стучит чаще остальных. Сельма смотрит на наши руки. Её обручальное кольцо упирается мне в палец.

— Там был рабочий, — говорю я. — Рядом со мной.

Она поднимает голову слишком быстро.

— Томаш. Его достали?

Сельма не переспрашивает имя.

— Достали.

— Он здесь?

— Нет.

Медсестра обещала врача. Он должен знать, кого куда положили.

— Он умер, — говорит Сельма.

В соседней части палаты кто-то ставит чашку на блюдце. Три коротких удара: поставил, поправил, отпустил.

— Когда?

— Я не знаю.

— До того, как достали?

— Не знаю, Арвид.

Она сжимает мою руку. Я вижу, что ей приходится прикладывать усилие: мои пальцы остаются прямыми.

— Ты откуда знаешь?

— Я спросила. Ты спрашивал о нём, когда тебя привезли. Я этого не помню.

На одеяле возле моего бедра лежит крошка. Жёлтая, плоская. Здесь уже ели до меня. Я смахиваю её, но не попадаю. Крошка застревает в складке.

— Ты его знал? — спрашивает Сельма.

— Нет.

Она ждёт, и я добавляю:

— Он знал, кто я.

Из пакета над кроватью с регулярными промежутками падает прозрачная капля. Здесь с водой порядок. Скорость можно регулировать колёсиком.

Я поворачиваю голову к Сельме.

— У меня куртка была.

— Внизу в пакете. Её разрезали.

— Там ключи.

— У меня.

Она расстёгивает сумку и показывает связку. На маленьком ключе от кладовки белый след. Я тянусь стереть его

большим пальцем, но Сельма уже убирает ключи.

— Лежи.

Я лежу.

Она остаётся, пока в палату не приносят ужин. Мне ставят на столик тарелку под крышкой, чашку и ложку в бумажном чехле. Сельма освобождает место, переставляет стакан с водой ближе к левой руке. Делает это быстро, будто у неё в мастерской и нужно убрать всё лишнее до начала работы.

— Мне пора, — говорит она.

— Ты завтра придёшь?

— После работы.

— Во сколько?

Она смотрит на меня.

— Когда закончу.

— Хорошо.

Ей приходится высвободить руку. Оказывается, теперь держу я.

Сельма надевает шарф, застёгивает пальто не с той петли и сразу переделывает. Наклоняется ко мне. Её губы касаются кожи возле виска, там, где нет пластыря.

— Позвони, если что-нибудь понадобится.

Я киваю. Она берёт пустую бумажную сумку: вещи уже сложены в тумбочку. Двенадцать проходит над краем двери и исчезает вместе с ней.

Место у двери ещё некоторое время кажется занятым.

— Хорошая жена, — говорят слева.

Сосед приподнялся на локте. Худой старик в полосатой пижаме. На груди расстёгнута верхняя пуговица. Волосы лежат отдельными белыми прядями, и над ними стоит единица.

Сначала я принимаю её за край чего-то, что находится за кроватью. Но за кроватью только стена.

— Эльстер, — говорит старик.

— Арвид.

— Я слышал.

Он указывает на тарелку.

— Пока тёплое, ешьте. Потом хуже.

Я снимаю крышку. Картофельное пюре занимает половину тарелки. Рядом рыба под белым соусом и морковь. Цвета подобраны так, чтобы не тревожить больного.

— Хлеб можете мне отдать, если не хотите, — говорит Эльстер.

Я протягиваю ему кусок в пакете. Он кладёт его на тумбочку, к двум таким же.

— На потом? — спрашиваю я.

— Для голубей.

Он откидывается на подушку. Единица поднимается вслед за головой.

— Сюда прилетают?

— Сюда нет. Дома.

Я зачерпываю пюре. Во рту ещё есть привкус пыли, хотя зубы, должно быть, кто-то очистил. Я провожу языком по

острому месту слева. Оно остаётся на месте.

— Здесь хлеб выбрасывают, — говорит Эльстер. — Каждый день. Утром дают, вечером дают. Кто столько съест?

— Вы берёте.

— Я же сказал. Для голубей.

Он разглаживает край пакета. Медленно, ногтем большого пальца.

— Хлеб им вроде нельзя.

Эльстер перестаёт разглаживать.

— Кто сказал?

— Читал где-то.

— Все теперь где-то читали.

Он складывает мой кусок поверх остальных. Разговор может закончиться, но старик не даёт ему этой возможности.

— Я не сразу им даю. Сначала сушу. Потом крошу. Зимой ещё крупу покупаю. Думаете, они без вас разберутся, что можно?

— Без меня точно разберутся.

Он некоторое время смотрит на меня, потом улыбается. Нижние зубы у него ровнее верхних.

— У вас окно на какую сторону?

— Дома?

— Ну не здесь же. Здесь у нас одна сторона.

Я называю сторону. Он уточняет, есть ли карниз, широкий ли подоконник, часто ли открываем окна. Я отвечаю короче, чем ему нужно. Эльстер добирает недостающее сам.

— Они сначала одного посылают. Посмотрит, улетит. Потом уже все. Если кормить в одно время, часы не нужны.

Он показывает пальцем на пустое запястье. На коже светлая полоса от ремешка.

— Мои часы тоже сняли, — говорю я.

— Мои дочь забрала. Чтобы не потерялись.

— А телефон?

— Телефон оставила. Я им время и смотрю. Очень удобно. Сначала очки найди, потом кнопку.

Он тянется к тумбочке, сдвигает хлеб и показывает мне аппарат. Экран не горит.

— Зарядить надо, — говорит он.

Мой провод ещё стянут резинкой. Сельма положила его рядом с телефоном.

— У меня другой разъём.

— Я вижу.

Эльстер убирает аппарат обратно. Хлеб возвращается на него сверху.

Мы едим. Вернее, я ем, а он следит, не останется ли ещё чего-нибудь пригодного для зимы. За окном светится квадрат соседнего корпуса. В нём человек снимает с кровати простыню. С такого расстояния над головой ничего не разобрать.

Врач приходит, когда я уже с трудом удерживаю ложку.

Четыре.

Цифра располагается чуть выше его коротко подстрижен-

ных волос. Не касается их. Он наклоняется прочесть лист у кровати, и четвёрка наклоняться не хочет: остаётся прямой, только опускается ниже.

— Как самочувствие?

— Лучше, чем вчера.

— Вчера вы на тот же вопрос не отвечали.

Он придвигает стул. Я ставлю ложку в тарелку, промахиваюсь по краю, и на одеяле остаётся белая полоса.

Врач смотрит мне в глаза, просит следить за кончиком ручки. Вправо. Влево. Вверх. Девятки над ручкой нет. Вообще ничего нет, кроме колпачка.

— Головная боль постоянная?

— Когда двигаюсь, сильнее.

— Тошнота? Рвота?

Я отвечаю. Он светит в один глаз, потом в другой. Свет неприятный, но четвёрку не убирает.

— Сотрясение, — говорит врач. — По обследованию опасных повреждений головы не нашли. Но наблюдение ещё нужно.

— А нога?

Он отгибает одеяло. Правая нога обмотана, стопа открыта. Кожа выше повязки жёлтая с фиолетовым. Часть бедра выглядит так, будто её выдали из другой партии.

— Кости целы. Сильное сдавление мягких тканей. Следим за отёком, чувствительностью, анализами. Пальцами пошевелите.

Я шевелю.

Он касается стопы в нескольких местах. Я говорю, где чувствую. Одно касание приходится повторить.

— Сейчас на неё не опирайтесь. Потом постепенно, с костылями, как покажут. Самостоятельно вставать пока не надо.

— Сколько дней?

— Посмотрим по состоянию.

Открытая стоимость. Окончательный расчёт после выполнения работ.

Врач снова накрывает ногу и смотрит на лист.

— Медсестра сказала, у вас зрительные жалобы.

Я перевожу взгляд с четвёрки на его лицо.

— Бывает что-то перед глазами.

— Точки? Вспышки?

— Похоже на след. Если посмотреть на свет, а потом в сторону.

Он спрашивает, темнеет ли в глазах, не пропадает ли часть поля зрения. Я отвечаю: нет. Просит закрыть по очереди каждый глаз. Четвёрка видна обоими. Я не сообщаю результат целиком.

— После сотрясения могут быть зрительные эффекты, — говорит он. — Утомляемость, трудности с фокусировкой. Плюс обезболивающие. Пока меньше телефона, никакой работы. Если появится двоение, резкое ухудшение зрения или усилится головная боль, сразу зовите.

— То есть это бывает.

— Бывает. Но за изменениями следите.

— Хорошо.

Я произношу это слишком охотно. Врач поднимает глаза от листа, словно ожидал торга за выписку.

— Отдыхайте.

Он встаёт. Я провожаю четвёрку до двери.

Теперь у происходящего есть медицинская статья расходов. Голова получила удар. В глазах что-то происходит. Несколько дней наблюдения. С этим можно лежать.

— Мне тоже говорили меньше телефона, — замечает Эльстер. — А часы забрали.

Я протягиваю ему свой телефон. Он подносит экран почти к носу.

— Девятнадцать сорок две, — читает он. — Спасибо.

На стекле паутина от правого угла. Под ней сообщение от Сельмы: «Дома».

Я отвечаю: «Зарядку нашёл».

Она ставит маленький знак в ответ. Я не увеличиваю.

Утром в палате пахнет кофе и влажным полотенцем. Медсестра меняет пакет на стойке. Та же девятка. Я узнаю её раньше лица.

— Голова?

— Терпимо.

— А нога по шкале от нуля до десяти?

Я отвожу взгляд.

— Шесть.

— В покое?

— В покое четыре.

Она записывает оба числа. У неё получается больше, чем у меня.

День занимает процедуры. Давление. Температура. Кровь из локтя. Проверка стопы. Мне дают умыться над тазом, и вода быстро становится серой. В волосах ещё остаётся строительная пыль. Медсестра меняет воду без комментариев.

Потом учит вставать с костылями. Сначала сесть. Подождать. Не смотреть вниз. Левую ногу поставить ровно. Правую держать на весу.

Три метра до двери требуют больше инструкций, чем приёмка этажа. На обратном пути я перестаю считать шаги. Кровать приближается слишком медленно.

Эльстер наблюдает.

— Высокие, — говорит он, когда я сажусь.

— По росту.

— Я о потолках. Здесь высокие. Дома у меня ниже.

Он продолжает вчерашний разговор про голубей, хотя я не помню, на чём мы остановились. Один у него хромает. Не даёт себя поймать. Садится отдельно, ждёт, пока остальные отойдут.

— Ему отдельно бросаю, — говорит Эльстер. — Иначе ничего не достаётся.

— Они же могут прилететь в другое место.

— Могут.

Он смотрит в окно. Мне приходится ждать.

— Но прилетают ко мне.

После обеда я сплю. Просыпаюсь от того, что правая рука лежит под боком. Вытаскиваю её так резко, что дёргаю трубку. Стойка звякает. Эльстер спрашивает, всё ли в порядке.

Я говорю, что да.

Под пальцами простыня. Никакой щели. До кнопки вызова можно дотянуться, не сгибая локтя. Я нажимаю её и прошу поправить пластырь на руке.

К вечеру стойку убирают. Медсестра ещё раз проводит меня до туалета и обратно. Здесь поручни с обеих сторон, дверь открывается наружу. Она показывает кнопку вызова возле унитаза и требует повторить, где она находится.

Я показываю.

— И без спешки.

Я не представляю, как здесь можно спешить.

Ночью просыпаюсь от тяжести в мочевом пузыре. Эльстер дышит с присвистом. Возле его кровати горит слабый ночник. Единица едва различима, но на месте.

Я сажусь и жду, пока перестанет качаться шкаф. Потом беру костыли. Резиновые наконечники прилипают к полу с тихим чмоканьем. В коридоре никого. До туалета одиннадцать шагов, если считать только левую ногу.

Внутри пахнет мылом и нагретой трубой. Я оставляю дверь незапертой. Всё делаю медленно, по инструкции. Да-

же возвращаю крышку на место, хотя дома об этом часто забываю.

Раковина низкая. Над ней зеркало, прикрученное четырьмя винтами. Я ставлю костыли под мышки, упираюсь ладонями в край и поднимаю голову.

Сначала вижу пластырь у виска. Синяк под скулой. На подбородке остался волосок от полотенца.

Выше — ноль.

Я подаюсь ближе. Костыль скользит, и мне приходится поймать равновесие. Нога отзывается под повязкой. Несколько секунд пережидаю боль, уставившись в раковину.

Потом снова поднимаю голову.

Ноль стоит над моими волосами. Серый, тонкий, вытянутый. Я протираю зеркало ладонью. На стекле остаётся влажная полоса. Цифра видна сквозь неё.

Я отворачиваюсь к двери. На белой краске ничего. Смотрю обратно.

Ноль.

В коридоре стучат колёса тележки. Я крепче берусь за раковину и рассматриваю собственное лицо, пока глаза не начинают слезиться.

Наверное, тоже сотрясение.

Глава 3. Единица

Утром на кровати Эльстера лежит свёрнутый матрас.

Его стягивают двумя ремнями. Под матрасом обнаруживается коричневый след, похожий на контур небольшой страны. Санитарка проводит по нему мокрой тряпкой. Страна исчезает.

На верхней полке тумбочки стоят три пакета с хлебом. Телефона нет.

— Перевели? — спрашиваю я.

Санитарка выжимает тряпку.

— Медсестра сейчас придёт.

Она протирает металлическую спинку, перекладины, кнопку вызова. Начинает сверху. Я почему-то слежу за порядком.

Ночью я слышал, как открывалась дверь. Кто-то сказал: «Дайте сюда». Я решил, что речь о подносе. Здесь всё время что-нибудь передают друг другу над твоей головой.

Медсестра приходит с лекарствами. Девять. Ставит передо мной стаканчик.

— А Эльстер?

Она не сразу убирает руку.

— Умер ночью.

На дне стаканчика две таблетки. Одна прилипла к пластику.

— Он вчера разговаривал.

— Да.

Я жду продолжения. Она проверяет мою фамилию на листе.

— Боль в ноге сильнее не стала?

— Нет.

— Сначала поешьте. Потом таблетки.

Я показываю на соседнюю тумбочку.

— Там его хлеб.

Медсестра смотрит на пакеты.

— Уберём.

Когда она выходит, я беру верхний пакет. Внутри два куска. Один мой, с позавчерашнего ужина. Через пластик хлеб уже кажется твёрдым.

Положить его обратно труднее, чем взять. Тумбочка стоит далеко. Я перегибаюсь через край кровати, подтягиваю пакет пальцами и оставляю возле своего стакана.

В десять на соседнюю кровать привозят другого мужчину. У него восемь. С ним приезжает огромная сумка, из которой жена достаёт тапки, полотенце и банку крема. Сразу спрашивает, где розетка.

Я сдвигаю хлеб, чтобы освободить место для завтрака.

До выписки проходит ещё шесть дней.

Мне разрешают понемногу ставить правую ногу на пол. Сначала только касаться. Потом переносить часть веса. Нога принимает новые обязанности без желания.

Я хожу по коридору до окна и обратно. Двадцать четыре метра. Первые два дня путь занимает девять минут, потом семь. На стене возле окна висит план эвакуации. По нему я могу покинуть здание за четыре поворота. На практике два из них пока недоступны.

У окна обычно сидит мужчина в кресле на колёсах. Два. Кожа у него жёлтая, уши почти белые. На коленях клетчатый плед, на пледе бумажный стакан с крышкой. Он придерживает его обеими руками.

В первый раз я спрашиваю, можно ли открыть форточку.

— Мне нельзя, — говорит он. — Но вы откройте.

Я не открываю.

Потом мы здороваемся. Он каждый раз приподнимает стакан, будто мы встретились в хорошем месте.

Однажды возле него стоят две женщины. Похожи друг на друга. Одна держит крышку, другая ложечкой соскребает что-то со дна стакана. Мужчина отворачивается. Ложечка остаётся в воздухе.

— Ещё одну, — говорит женщина.

— Ты сама попробуй.

Она пробует. Морщится. Вторая смеётся, прикрыв рот.

Я разворачиваюсь у плана эвакуации и иду обратно.

Есть ещё женщина на каталке. Ноль.

Впервые её провозят мимо, когда я жду перевязки. Голова поднята, глаза открыты. На шее лиловая родинка размером с монету. Одеяло подоткнуто со всех сторон, но одна ступ-

ня всё равно торчит. Медсестра останавливается, укрывает ступню, катит дальше.

Во второй раз каталка стоит возле лифта. Женщина смотрит на мои костыли.

— Не ставьте туда, — говорит она.

Один наконечник попал в щель между плитками.

Я переставляю его.

— Спасибо.

Двери лифта открываются. Санитар разворачивает каталку ногами вперёд. Женщина закрывает глаза ещё до того, как её увозят.

Числа остаются. Голова почти не болит, тошноты нет. Могу прочесть полстраницы, не потеряв строку. Это неудобное выздоровление. Часть неисправностей устраняют, одну оставляют без объяснения.

Я проверяю телефон. Снимаю коридор, потом смотрю запись. Мужчина у окна есть. Стакан есть. Двойки нет.

Удаляю запись, потому что на ней слышно, как я дышу.

В день выписки Сельма приезжает с брюками, у которых широкие штанины. Она купила их специально. Чек оставила в кармане.

— Эти должны налезть.

Двенадцать. Тёмные круги под глазами стали светлее. На большом пальце свежий порез, заклеенный узкой полоской пластыря.

Я переодеваюсь в туалете. Для этого приходится сесть на

закрытую крышку и просунуть костыль в штанину. Сельма ждёт за дверью.

— Помочь?

— Уже всё.

До «всё» остаётся ещё четыре минуты.

В коридоре она берёт пакет с больничными вещами. Хлеб я выбросил утром. Не в общую корзину у кровати, а в ведро возле лифта. Для этого пришлось пройти лишние одиннадцать метров.

На стойке медсестёр лежит газета. Внизу раскрытой страницы несколько чёрных рамок. В одной фамилия Эльстера.

Я придвигаю газету к себе.

Медсестра поднимает голову.

— Вам ручку?

— Нет. Я только посмотрю.

В пятницу. Одиннадцать тридцать. Малый зал крематория. Под объявлением просьба обойтись без венков.

Я переписываю время в телефон.

Сельма стоит возле двери с пакетом в каждой руке.

— Что там?

— Сосед по палате.

Она подходит, читает.

— Ты пойдёшь?

— Не знаю.

Я уже сохранил адрес.

В пятницу водитель высаживает меня у длинного навеса.

Сельма утром уехала в мастерскую. Перед уходом поставила возле кровати термос и велела не носить чашку на костылях.

Термос остался полный.

До входа двадцать два шага. Под навесом сухо, дальше мокрые листья облепляют плитку. Возле двери стоит урна с песком. В ней три окурка. У одного фильтр розовый от помады.

Я приезжаю на двадцать минут раньше. У стойки женщина спрашивает фамилию.

— Эльстер.

Она смотрит в список.

— Малый зал. Прямо и налево. Пока можно подождать здесь.

На её столе коробка бумажных платков. Рядом терминал для оплаты. Между ними достаточно места для локтя.

Я сажусь на край дивана. С костылей капает вода. На стене электронное табло с фамилиями и временем. Здесь цифры горят ровным белым светом. Я несколько раз перевожу взгляд с табло на сотрудницу. Разница есть. Для неё у меня пока нет слов.

Приходят двое мужчин. Один несёт единственную розу в прозрачном рукаве. Второй держит его пальто, пока тот поправляет галстук.

Потом женщина в короткой чёрной куртке. У неё красные веки и пакет из продуктового магазина. Она достаёт из пакета жестяную коробку, спрашивает у сотрудницы, куда её

поставить. Коробку уносят.

Последней приходит другая женщина, в сером пальто. На ходу складывает зонт. Застёжка не достаёт до петли. Она пробует дважды, потом оставляет как есть.

Четверо. Я пятый, если считать меня.

В зал нас приглашает мужчина с гладко зачёсанными волосами. Он говорит негромко, но так, чтобы никого не пришлось звать повторно.

Гроб стоит перед светлой стеной. Закрытый. Над ним ничего нет.

Я смотрю дольше, чем нужно, потом перевожу глаза на цветы.

Дочь садится в первом ряду. Я понимаю, что это дочь, когда мужчина с розой кладёт ладонь ей на плечо и говорит:

— Ты всё хорошо устроила.

Она кивает, не поднимая головы.

Двое мужчин садятся рядом. Женщина с зонтом остаётся у прохода. Я выбираю последний ряд. Между мной и остальными восемь пустых стульев.

Играет музыка. Без слов. Вступление повторяется, пока сотрудник проверяет что-то возле двери. Потом он подходит к маленькой кафедре и начинает читать.

Даты. Место работы. Брак. Дочь.

Имя Эльстера теперь состоит из сведений, которые удалось получить по телефону.

Мужчина с розой держит сцепленные руки между коле-

нями. Его сосед трёт переносицу, но глаза сухие. Женщина с зонтом разглядывает край рукава.

Дочь достаёт платок. Сначала прижимает его к носу. Потом проводит под правым глазом, под левым. Слёзы доходят до подбородка. Она ловит их платком, не успевает, одна капает на ворот пальто.

Одна.

Сотрудник просит встать. Я поднимаюсь позже остальных. Один костыль задевает стул. Звук получается длинный, металлический. Мужчина с розой оборачивается и сразу смотрит обратно.

Я стою, опираясь на левую ногу. Дочь плачет. Остальные нет.

Когда всё заканчивается, нам приходится немного подождать в коридоре. Сотрудница возвращает дочери жестяную коробку. Внутри часы, очки и ещё что-то, завёрнутое в салфетку.

Я узнаю пустое место на запястье раньше, чем сами часы.

— Вы из больницы? — спрашивает дочь.

— Мы лежали вместе.

— Он рассказывал про голубей?

— Да.

Она прижимает коробку к животу.

— Простите. Он всем рассказывал.

— Не надо извиняться.

Женщина с зонтом зовёт её от двери. Дочь показывает:

минуту.

— Папа всех пережил: маму, брата, друзей. Осталась только я.

Я киваю. Смотрю поверх её плеча на двоих мужчин. У того, что с розой, покраснел нос. Глаза всё ещё сухие.

— Вы давно его знали? — спрашиваю я.

Она чуть отстраняется.

— Я его дочь.

— Я про них.

— Соседи. Помогали иногда.

Она закрывает защёлку на коробке. Та не сразу поддаётся.

— Вам вызвать машину? — спрашивает она.

— Нет. Спасибо.

Ей надо идти. Это видно по тому, как она уже повернула ступни к выходу, а корпус ещё держит ко мне.

— Он просил хлеб сохранять, — говорю я.

— Знаю.

Я хочу добавить, что хлеб был больничный, упакованный, но она уже уходит.

В холле я сажусь. Достаю телефон. Пишу: «Эльстер. 1. Пришли 4. Плачет 1».

Стираю «плачет». Пишу «плакала».

Потом возвращаю первое слово. Она ещё видна через стекло. Стоит под навесом и не может попасть ключом в замок машины.

В понедельник я покупаю блокнот. Самый дешёвый, с

клеткой и мягкой обложкой. Продавщица предлагает второй за половину цены. Я отказываюсь. Для начала достаточно одного.

Дома нахожу объявление о смерти мужчины у окна.

На фотографии он моложе. Кожа обычного цвета, в руках пойманная рыба. Я увеличиваю лицо. Левое ухо с раздвоенным краем. То самое.

Прощание во вторник. Там же.

Я записываю двойку до того, как закрываю страницу.

Потом ищу женщину с каталки. Её фотографии нет среди новых объявлений. Есть ещё несколько страниц. Я листаю их, пока на плите не начинает шипеть вода. Сельма поставила вариться картофель и попросила выключить через двенадцать минут.

Прошло девятнадцать.

Я сливаю воду. Нижние куски пристали ко дну. Соскребаю их деревянной лопаткой и оставляю в кастрюле. Сверху всё выглядит приемлемо.

Во вторник у малого зала стоят те две женщины.

Я узнаю их сразу. Одна застёгивает другой верхнюю пуговицу пальто. Та отталкивает её руку, потом позволяет застегнуть.

Людей больше, чем у Эльстера. Семнадцать, включая меня. Я считаю ещё раз, когда все садятся. Восемнадцать. Один мужчина пришёл через боковую дверь.

Теперь я сажусь у прохода. Отсюда видно лица и не нужно

вставать, чтобы пропустить человека.

На гробе фотография. Рыбу обрезали. Остались лицо, плечи и чужой локоть у нижнего края.

Старшая женщина плачет до начала музыки. Младшая держится, пока читают речь. Когда произносят слово «отец», у неё начинает ходить подбородок. Она зажимает его ладонью. Не помогает.

Два.

Мужчина передо мной достаёт носовой платок. Я подаюсь вбок. Он громко сморкается, складывает платок, убирает. Лицо сухое.

Женщина через проход закрывает глаза. По щекам ничего не идёт. Я жду. Она открывает глаза, поправляет очки.

После церемонии люди остаются возле дверей. Обнимаются, договариваются, кто с кем поедет. Я не ухожу. Проверка ещё не закончилась.

— Вы к нам? — спрашивает мужчина, тот, который сморкался.

— Я из больницы.

— Работали там?

— Лежал.

Он смотрит на костыли.

— А. Понятно.

Ему ничего не понятно. Мне тоже пока не вполне.

Обе женщины стоят у стеклянной двери. Одна плачет молча. Другая что-то говорит ей в ухо и тоже плачет. Никто

больше.

На улице я записываю восемнадцать присутствовавших. Исправляю на семнадцать. Себя надо вычитать одинаково.

В среду я нахожу женщину с каталки.

Фотография маленькая, чёрно-белая. Лилового цвета не видно, но родинка на месте. Рот плотно закрыт. В объявлении только фамилия, две даты и время прощания. Четверг, девять утра.

Я переписываю всё в блокнот. Ставлю ноль. Обвожу, потом жалею: остальные числа не обведены.

Утром Сельма замечает, что я одеваюсь.

— У тебя перевязка завтра.

— Знаю.

— Куда ты?

Я тяну штанину через колено. Ткань цепляется за край повязки.

— На прощание.

Она ставит чашку на кухонный стол.

— Опять кто-то из палаты?

— Из больницы.

— Ты знал этого человека?

— Немного.

Сельма смотрит на блокнот возле моих ключей. Он закрыт.

— Врач сказал больше ходить. Но ты потом весь вечер сидишь с опухшей ногой.

— Там можно сесть.

Она берёт чашку и выливает кофе в раковину. До выхода ей остаётся несколько минут, она уже в рабочей одежде.

— Когда вернёшься?

— До обеда.

— Продукты у двери. Убери хотя бы молоко.

Она уходит. Я убираю молоко, сыр, яйца. На пакете с хлебом стоит дата. У меня ещё остаётся время позавтракать, но я надеваю куртку.

В девять в малом зале никого нет.

Гроб светлый, без цветов. На кафедре лежит лист. Сотрудник возле двери спрашивает:

— Вы на это прощание?

Я называю фамилию.

— Да. Проходите.

— Ещё будут?

— Пока никого.

Я сажусь во втором ряду. На первом нет табличек, мест для родственников, ничего. Просто четыре стула.

Сотрудник ждёт ещё три минуты. Смотрит на дверь, потом на часы.

— Можно начинать?

Он спрашивает у меня.

— Да.

Музыка сегодня другая. Тоже без слов. Сотрудник читает короткий текст. Женщина родилась, работала, умерла. Меж-

ду этими действиями семьдесят девять лет. На листе остаётся много белого.

Ручка двери не двигается.

В кармане вибрирует телефон. Я прижимаю его ладонью. Сотрудник делает паузу, будто даёт мне возможность ответить.

— Простите, — говорю я.

Он продолжает.

В конце он предлагает подойти. Я поднимаюсь, но остаюсь возле стула. Не знаю, что нужно сделать у закрытого гроба женщины, которая однажды уберегла мой костыль от щели в полу.

Сотрудник ждёт. Потом сам подходит и несколько секунд стоит с опущенной головой.

Никто не плачет.

В холле я задерживаюсь ещё на четверть часа. Мало ли. Опоздавший родственник. Перепутанный автобус. Человек, которому пришлось искать парковку.

Сотрудница спрашивает, не вызвать ли мне такси.

Я говорю, что уже вызвал, хотя приложение ещё закрыто.

На последней строке записи вывожу: «0».

Три раза из трёх.

Я кладу блокнот на колени. Мягкая обложка намокла с одного угла. Пока я сидел, с куртки стекала вода.

Открываю первую страницу. Эльстер. Единица.

Вечером Сельма работает за кухонным столом. Перед ней

раскрытая книга на двух сложенных полотенцах. Рядом кисточка, кусочки тонкой бумаги, стакан с водой. Я оставляю ключи на тумбе в прихожей.

— Молоко убрал? — спрашивает она.

— Да.

— Поешь. В духовке.

Я не снимаю куртку. Стою перед большим зеркалом.

За моим плечом отражается край кухни. Сельма наклоняется над книгой. Двенадцать. Потом отодвигает стул, и я вижу только её локоть.

Надо мной ноль.

Я вынимаю блокнот. Нахожу три записи. Подсчёт присутствовавших, поправки, время начала. Почерк становится мельче от страницы к странице.

— Арвид, у тебя вода на полу.

Возле правого ботинка растёт лужица. Я отставляю костыль, чтобы наконечник не стоял в ней.

— Сейчас.

Сельма возвращается к работе. Шуршит бумага. Щёлкает выключатель настольной лампы.

Я стою ещё. Правая нога начинает пульсировать, и приходится перенести вес на левую. Зеркало вмещает меня целиком, вместе с костылями и мокрыми следами.

В блокноте есть чистая строка.

Я пишу своё имя. Рядом ставлю ноль.

Ручка продавливает бумагу до следующей страницы.

Глава 4. Полный зал

Сообщение о похоронах Томаша приходит с рабочего адреса.

Тема: «Организационная информация».

Ниже — дата, время, большой зал крематория. Просьба к сотрудникам по возможности присутствовать. Последняя строчка сообщает, что парковка у северного входа закрыта из-за ремонта покрытия.

Смерть одного рабочего. Недоступность четырнадцати парковочных мест. Всё, что нужно знать до выезда.

Я перечитываю письмо. Проверяю дату. Сегодня.

Последние дни я открывал рабочую почту только тогда, когда на значке скапливалось больше двадцати сообщений. Вчера было девятнадцать. Томаш не прошёл мой порог срочности.

До начала два часа сорок минут.

Я ставлю телефон на зарядку и достаю из шкафа тёмные брюки. Правую штанину приходится собирать гармошкой. Колено ещё не любит, когда его сгибают. Я надеваю носок, сидя на краю кровати, и отдыхаю так, будто уже куда-то сходил.

На стуле лежит кофта из больницы. Та самая, в которой я вернулся домой. На манжете засохло маленькое пятно. Кофе или лекарство. Я выбираю рубашку.

В почте есть приложение. Схема проезда.

Фотографии Томаша нет.

Я пытаюсь вспомнить лицо и снова получаю темноту. Ещё — участок собственного рукава, который удалось нащупать левой рукой. Томаш находился дальше. Между нами лежало достаточно материала, чтобы в обычных обстоятельствах предъявить его к оплате.

«Обо мне никто не заплачет».

Я застёгиваю рубашку не на ту пуговицу. Замечаю внизу. Расстёгиваю всё обратно.

Если я приеду, там будет хотя бы один человек, который слышал его в тот день.

Этого мало. Но другого человека у меня нет.

На кухне я выпиваю полстакана воды. Потом ещё полстакана. Смотрю на часы. До выезда сорок минут. Можно поесть, но после еды обычно хочется остаться там, где сидишь.

Я нахожу в ящике бумажные платки. Упаковка открыта, осталось три. Кладу в карман, потом перекладываю ближе, чтобы не пришлось искать.

Раньше я не готовился плакать. Всё происходило без инвентаризации. Теперь проверяю карманы: телефон, ключи, платки. Блокнот оставляю на столе. Возвращаюсь за ним уже в куртке.

В машине пахнет влажной тканью и мятной жвачкой. Водитель спрашивает, к какому входу подъехать.

— К северному нельзя, — говорю я.

— Там уже месяц нельзя.

Он сворачивает, не дожидаясь дальнейших указаний.

За окном грузовик поливает дорогу. Дождь идёт с утра. На щётках под грузовиком висит серая пена. Люди умеют продолжать работу при полном отсутствии потребности в результате. Это должно немного успокаивать.

Я достаю телефон. Открываю письмо ещё раз.

Большой зал.

Наверное, малый занят. Время удобное, середина дня. У крематория тоже есть график.

Водитель тормозит перед переходом. Мужчина везёт пустую детскую коляску, рядом идёт ребёнок и обеими руками держит огромный мокрый лист. На секунду они оказываются совсем близко к стеклу. Над мужчиной серое число. Над ребёнком тоже. Лист без номера.

Я убираю телефон.

У входа стоят люди в одинаковых рабочих куртках. Светоотражающие полосы на рукавах потемнели от воды. Один курит, прикрывая сигарету ладонью. Другой держит букет вниз головками. Между ботинками у него уже лежат два белых лепестка.

Машина останавливается чуть дальше навеса.

— Здесь нормально?

— Да.

Водитель видит костыли, выходит и открывает багажник, хотя я держу их на коленях. Мы несколько секунд смотрим

друг на друга через раскрытую дверь. Потом он закрывает багажник и помогает мне выбраться.

Когда машина уезжает, один из мужчин гасит сигарету.

— Вы Арвид?

Я киваю.

Он берёт меня за локоть. Не спрашивает, нужно ли. Держит крепко, пока я переставляю костыль на сухую плитку.

— Осторожно. Тут скользит.

У него над головой шесть. Сам он широкий, с коротко остриженными волосами и кожей, которую трудно отмыть возле ногтей. Я не помню его со стройки. Он меня помнит.

— Из офиса ещё кто-нибудь приедет? — спрашивает мужчина с букетом.

— Не знаю.

— Мы цветы общие принесли. Если что, от всех.

Он поднимает букет. Из прозрачной упаковки вытекает вода.

— Хорошо, — говорю я.

Мне не нужно ничего покупать. Мою часть уже включили.

Широкий мужчина отпускает локоть только у двери. Сам остаётся снаружи, поворачивается к стоянке. Ждёт остальных.

Внутри жарко. Стёкла запотели по краям. Возле гардероба очередь, и я сначала думаю, что здесь несколько прощаний сразу. На крючках висят мокрые пальто, спортивные куртки, детская шапка с длинными завязками. Женщина пы-

тается затолкнуть в карман складной зонт. Он не складывается. Она прижимает его к себе обеими руками.

Сотрудница за стойкой показывает мне направо.

— Большой зал. Можете пройти, там уже открыто.

— Это всё к Томашу?

Она смотрит на очередь.

— Да.

Из зала выходит мальчик лет пятнадцати. В руках у него стакан воды. Он идёт быстро, смотрит в стакан, чтобы не расплескать, и всё равно расплёскивает на пальцы. У дальней стены останавливается перед женщиной. Та берёт воду, но не пьёт.

Мальчик вытирает руку о брюки.

Я пропускаю пожилую пару. Потом ещё двух женщин. Каждая держит одну гвоздику. У одной в пакете видны картофель и рулон мусорных мешков. Она замечает мой взгляд и поворачивает пакет другой стороной.

— Мы из соседнего дома, — говорит она. — До магазина успели, а домой уже нет.

Я киваю, будто ей необходимо моё разрешение.

У двери зала стоит мужчина в спортивной куртке с эмблемой детской команды. На молнии висит маленький свисток. Настоящий, металлический. Возможно, он всегда его носит. Возможно, утром забыл снять.

Перед ним три подростка. У одного развязался шнурок.

— Здесь завяжи, — говорит мужчина. — Потом будут

проходить, наступят.

Подросток садится на корточки. У второго дрожат губы. Он втягивает их в рот, отчего лицо становится старше и глупее.

— Можно мы вместе сядем?

— Конечно. Я же сказал.

— А впереди обязательно?

— Нет. Давайте с краю.

Они заходят. Мужчина придерживает дверь и для меня.

— Вам удобнее у прохода.

Я благодарю его. Он смотрит на костыли, потом на лицо.

— Вы были там?

— Да.

Он открывает рот, но подросток из зала зовёт его. Мужчина коротко кивает мне и идёт к ним.

Я остаюсь у входа.

В большом зале шесть рядов по двенадцать мест. Семьдесят два стула. Вдоль стены уже стоят люди. Ещё несколько стульев сотрудник приносит из боковой двери. Он несёт по два, спинками к себе, и ставит так осторожно, будто здесь запрещено всё, что звенит.

Гроб впереди. Закрытый. Вокруг него цветы, столько цветов, что ножек подставки почти не видно. На фотографии Томаш стоит на улице в расстёгнутой куртке. Улыбается, щурит один глаз. Нижний край фотографии приходится на грудь. Рук нет.

Я смотрю на его лицо.

Всё равно не помню.

Зато теперь знаю, что у него были густые брови. И что улыбка получалась неровной. Мне хочется найти на фотографии хоть что-нибудь, что я узнал бы сам, без подписи. Не нахожу.

У прохода поднимается мужчина и показывает на свой стул.

— Садитесь.

— Я могу там.

Свободных мест там нет.

— Садитесь, — повторяет он и забирает со спинки пальто.

Я сажусь в четвёртом ряду. Костыли не помещаются под стулом. Мужчина помогает уложить их вдоль прохода, потом решает, что кто-нибудь споткнётся, и ставит у стены. До стены три шага.

— Достанем, когда нужно будет, — говорит он.

Я остаюсь без костылей. Теперь придётся дождаться конца.

Спереди кто-то снимает с ребёнка куртку. Рука застревает в рукаве. Ребёнок дёргается, женщина придерживает его за плечо. Наконец рука освобождается, и маленькая ладонь сразу тянется к её щеке.

Это жена.

Я понимаю не по месту в первом ряду. Мальчик со стаканом садится с другой стороны и наклоняется к ней тем

же движением, каким ребёнок тянется рукой. С двух сторон проверяют, на месте ли она.

Женщина гладит младшего по затылку. На ней тёмное платье. На спине, возле шва, прилипла белая нитка. Отсюда я вижу нитку лучше, чем лицо.

В зал входят рабочие. Букет оставляют возле гроба. Мужчина, который помог мне у навеса, снимает куртку и складывает её на коленях. Под курткой светлая рубашка. Верхняя пуговица застёгнута. Он несколько раз просовывает палец между воротником и шеей.

Рядом две женщины шёпотом выясняют, кому передать ключи от квартиры Томаша. Одна достаёт связку, другая накрывает её ладонью.

— После. Сейчас не надо.

Ключи исчезают в кармане.

Дверь остаётся открытой. Люди всё идут. Я считаю занятые места, потом стоящих. На восемьдесят первом сбиваюсь: возле стены двое меняются местами, за ними кто-то сидит на низком подоконнике.

Блокнот давит на бедро.

Я не достаю его.

Сотрудник подходит к двери, оглядывает коридор. Впускает ещё одну женщину. Та снимает очки уже на ходу. Под ними красные мокрые полосы. Он закрывает дверь.

Становится слышно вентиляцию.

Раньше, когда начиналась музыка, я смотрел на лица и

ждал. Сейчас ждать нечего. Женщина в первом ряду плачет, склонив голову к младшему ребёнку. Старший держит стакан между коленями. Вода дрожит у края. Он делает глоток и не может проглотить. Прикрывает рот кулаком.

Ребёнок спрашивает что-то у матери. Она отвечает ему в волосы. Он начинает плакать громче, сердито, как плачут, когда взрослые отказываются исправлять очевидную ошибку.

Я вынимаю из кармана платки. Разрыв на упаковке слишком узкий. Тяну сильнее, и один платок падает на пол.

Наклониться за ним не получается. Правое бедро упирается в край стула. Я прижимаю оставшиеся два к ладони.

Сотрудник говорит о Томаше. Возраст, семья, работа. Я слышу начало, потом кашель за спиной закрывает несколько слов.

Плачущий человек кашляет иначе. Коротко, без толку. Рядом с ним начинают шуршать бумажной упаковкой.

Сотрудник отходит от кафедры. Вместо него поднимается широкий мужчина со стройки. Рубашка вылезла из брюк с одной стороны. Он замечает это, заправляет на ходу.

Перед кафедрой останавливается. Смотрит на жену Томаша.

— Мы собрали, — говорит он.

Молчит.

— Потом передадим. Там всё…

Он поворачивается к своим. Один кивает. Мужчина дер-

жит ладонь на краю кафедры, большим пальцем трёт гладкую поверхность.

— Я другое хотел сказать.

Из кармана он достаёт сложенный лист. Не разворачивает.

— У него всегда были запасные перчатки. Кто бы ни забыл. У всех, конечно, случайно забывались.

В зале кто-то коротко выдыхает. Почти смех.

— Я ему говорил: перестань таскать. Пускай свои покупают.

Он смотрит на лист.

— Ну вот.

Губы у него раздвигаются, но дальше ничего не выходит. Слёзы бегут по щекам прямо к воротнику. Он вытирает лицо сложенным листом, понимает, что делает, и опускает руку.

Один из рабочих встаёт, подходит к нему. Они несколько секунд стоят рядом. Потом возвращаются вдвоём.

Четыре человека в рабочих рубашках. Четыре мокрых лица. У пятого ладони прижаты к глазам.

Я сжимаю платки. Бумага становится тёплой.

К кафедре выходит тренер. Свисток он снял. Держит в кулаке, цепочка свисает между пальцами.

— Томаш возил наших на выездные игры, — говорит он. — Даже когда его смена заканчивалась утром. Я иногда узнавал уже на месте, что он не спал.

Один из подростков смотрит в пол. Второй закрывает лицо рукавом. Третий вытирает нос тыльной стороной ладони.

— Мы в прошлую субботу…

Тренер останавливается. Кладёт свисток в карман.

— Простите.

Он стоит, низко опустив голову. Сотрудник подаётся к нему, но тренер поднимает ладонь: не надо. Пытается ещё раз вдохнуть, чтобы договорить. Не договаривает.

Женщина позади меня шепчет соседке:

— Он и лампочку мне менял. Я сама могла. Просто боялась на стремянку.

Соседка берёт её за руку. Обе плачут.

Семья. Бригада. Соседи. Команда.

Я поворачиваюсь к стене. Мужчина, уступивший мне стул, смотрит в потолок. У него по вискам катятся слёзы. Он ловит мой взгляд и отворачивается. Мне хочется сказать, что я не проверяю его. Но я именно это и делаю.

Молодая женщина у двери прижимает ко рту край шарфа. Рядом пожилой мужчина вытирает глаза большим и указательным пальцами. Пальцы мокрые. Он рассматривает их, словно испачкался.

Люди заслоняют друг друга. Здесь невозможно вести точный учёт. Я ищу хотя бы одно сухое лицо и всякий раз ошибаюсь: человек поворачивается, убирает руку, снимает очки.

Мои платки пока не нужны.

Я слушаю вентиляцию. Пытаюсь услышать под ней другое дыхание. В том промежутке, когда музыка стихает, человек справа втягивает воздух через рот, и я невольно жду следу-

ющего вдоха. Дожидаюсь. Ещё одного. Он сморкается и передаёт пачку платков назад.

Я перестаю считать.

Над гробом пусто. Фотография стоит чуть левее. Томаш смотрит куда-то мимо всех нас, на человека, который тогда держал камеру. Может быть, на жену. Может быть, на кого-то из этих людей.

Раньше я думал, что за это время у меня появились сведения о Томаше. Футбол. Цены. Качели. Теперь выясняется, что это был разговор двух людей, которым нечем было помочь друг другу.

Я провожу платком под глазами. Бумага сухая. Пробую сильнее. Начинает щипать веко.

Сотрудник просит встать.

Я упираюсь ладонями в сиденье. Мужчина у стены замечает и приносит костыли ещё до того, как я успеваю попросить. Ставит их под мои руки, придерживает один, пока я выпрямляюсь.

— Не торопитесь.

Он плачет и помогает мне встать. Я опираюсь на него сильнее, чем собирался.

Люди подходят к гробу. Впереди задерживаются дети. Старший кладёт ладонь на крышку и быстро убирает. Младший хочет сделать то же самое, но не достаёт. Мать поднимает его. Он тяжёлый для неё. Она переставляет ноги, удерживая вес, и мальчик касается дерева всей ладонью.

Я смотрю вниз.

На полу лежит мой платок. На нём отпечаток подошвы.

Очередь движется медленно. Когда приходит мой черёд, я останавливаюсь возле гроба. На табличке имя Томаша. Фамилия. Две даты. Я смотрю на последнюю.

— Я здесь, — говорю я тихо.

Сразу становится хуже. Томаш не мог знать, что я приеду. Сейчас ему это тоже ни к чему.

За мной ждут. Я освобождаю место.

В коридоре люди не расходятся. Кто-то ищет куртку ребёнка. Соседки обсуждают, какую еду нужно занести вечером. Одна говорит, что суп уже сварен. Другая отвечает, что супа будет слишком много, лучше оставить на завтра.

Бригада стоит у окна. Мужчина в светлой рубашке держит конверт обеими руками. Он ищет глазами жену Томаша, но она окружена людьми.

Я двигаюсь к выходу. Платки убираю в карман. Использованный тоже. Не вижу корзины.

Возле двери меня окликает женщина.

— Арвид?

Жена Томаша. Девять.

Вблизи видно, что она старше, чем показалось со спины. Или просто сегодня так. Нижняя губа потрескалась посередине. На плече тёмного платья мокрый след от лица ребёнка.

— Да.

— Мне сказали, вы приехали.

Старший сын стоит рядом. Держит её пальто. Младший прислонился к её ноге и теребит край рукава. Женщина хочет что-то сказать, но сначала поправляет на нём воротник.

— Я была в больнице, когда вас привезли. Меня к вам не пустили.

— Я не знал.

— Вы тогда ещё… Потом сказали, что вы спите.

Мальчик смотрит на мои костыли.

— У него тоже нога? — спрашивает он.

Мать кладёт ладонь ему на макушку.

— Подожди немного.

Я не знаю, кому адресован вопрос. Не переспрашиваю.

— Вы разговаривали? — спрашивает женщина.

— Да.

— Всё время?

— Пока могли.

Она кивает несколько раз. Слишком быстро. Я вижу, что нужен другой ответ, более пригодный для следующих дней.

— Он меня слышал, — говорю я.

— Да.

Она прижимает пальцы к губам, опускает.

— О чём вы говорили?

— О футболе. О продуктах. Там собирались делать площадку. Мы говорили о качелях.

Старший сын поднимает глаза.

— Он всегда говорил, что на нормальных качелях цепи

должны быть в оболочке. Чтобы пальцы не прищемить.

— Да, — отвечает мать. — Я знаю.

Она берёт сына за запястье. Пальто между ними сползает, он подхватывает его локтем.

У меня во рту сухо. Я могу рассказать про последние десять вдохов. Про то, как старался не шуметь, чтобы услышать следующий. Могу уточнить, сколько времени прошло до спасателей, хотя точного времени не знаю.

Она не спрашивает.

— Хорошо, что он был не один, — говорит вдова.

Она кладёт руку мне на предплечье. На секунду задерживает. Потом ей нужно забрать пальто у сына и одеть младшего. У мальчика рука снова не попадает в рукав. Женщина опускается перед ним на корточки.

Я стою рядом, пока он сердито дёргает плечом.

— Вот сюда, — говорит она. — Смотри. Вот рука.

Мужчина с конвертом наконец подходит. Ждёт, пока она поднимется. Я отступаю к двери, чтобы освободить им место.

«Обо мне никто не заплачет».

Он говорил это уверенно. Без вопроса. Я тогда не стал возражать. Не знал, на каких данных возражать человеку, которого даже не видел.

За моей спиной полный зал. Все эти люди находились где-то и в тот день. Работали, ехали, ждали звонка. Томаш лежал в темноте и ни одного не засчитал.

Может быть, он ошибся.

Может быть, и числа ошибаются.

Я берусь за ручку двери. Стекло тёмное, за ним улица и мокрые кусты. В отражении люди проходят у меня за спиной. Серые числа движутся над их головами, пропадают за плечами, появляются снова.

Я наклоняюсь ближе, заслоняю ладонью свет из коридора.

Над моей головой ноль.

Глава 5. Кто придёт

В кладовке пахнет пылью и хозяйственным мылом. Я ищу насадку для пылесоса. Сельма говорит, что длинной трубкой удобно доставать носки из-под кровати. Наклоняться пока нельзя. Носки можно было бы оставить там до выздоровления, но она хочет сменить бельё.

Насадка лежит на верхней полке. Внизу, между коробкой с зимней обувью и складной сушилкой, стоит дорожная сумка.

Я цепляю её костылём. Сумка падает набок, молния расходится на ладонь. Внутри свёрнутая кофта Сельмы. Под ней бельё. В боковом кармане зубная щётка в прозрачном чехле.

Пылесосить я ещё не начал, но уже устал.

Сажусь на табурет у двери. Костыль кладу поперёк коленей и подтягиваю сумку за ручку. Она тяжелее, чем должна быть сумка с кофтой. На дне, судя по углам, обувь. Я закрываю молнию.

Сельма появляется в коридоре с наволочкой в руках.

Двенадцать.

— Нашёл?

Я показываю насадку.

Она смотрит ниже.

— Зачем ты её достал?

— Она упала.

— Поставь обратно. Я сама.

— Ты собиралась остаться в больнице?

Сельма перестаёт выворачивать наволочку.

— Что?

— Когда меня привезли. Вещи собрала.

Из спальни доносится короткий щелчок: с угла матраса соскочила простыня на резинке.

— Тогда я не знала, сколько тебя продержат, — говорит она.

Я киваю. Хорошо, когда предмет получает объяснение. Можно вернуть его на полку.

— Там твоя щётка, — говорю я.

— Мало ли.

«Мало ли» — тоже объяснение. Я его принимаю.

Я поднимаю насадку, чтобы Сельма могла пройти. Она ставит сумку в дальний угол, разворачивает молнией к стене. Потом вынимает у меня из-под костыля наволочку. Оказывается, я сел на её край.

— Сегодня к твоей матери, — говорит она. — Ты помнишь?

— В два.

— В час. Ты сказал ей в час.

Я смотрю на часы. До выхода сорок минут. Под кроватью лежат два носка. Один мой, второй пока не установлен.

Сельма уносит оба.

* * *

Мать открывает до звонка. Из кухни ей видно подъездную дорожку, и она успевает проследить весь мой подъём от машины до двери. На последней ступеньке пытается взять меня под руку.

Маргит. Сорок.

Я останавливаюсь. Она тоже.

— Что такое?

— Ничего. Куда костыли?

— А куда тебе удобно?

Я ещё не знаю. Мы стоим в дверях, пока Сельма не забирает у матери блюдо с полотенцем, которое та держит второй рукой.

— В духовку? — спрашивает Сельма.

— На стол. Подставка рядом с хлебом.

Они обходятся без дальнейших указаний. Я добираюсь до стула с высокой спинкой. Мать подкладывает мне под ногу второй стул и сложенное одеяло. Одеяло слишком высокое. Я убираю один сгиб. Она возвращает.

— Так отёк меньше.

— Так колено болит.

Она снимает одеяло целиком. Теперь край стула давит на пятку.

На столе жаркое, картофель, свёкла и хлеб двух сортов. Нас трое. У матери расчёт продуктов всегда включает людей, которые ещё не знают, что придут.

Первой приходит соседка сверху. Без звонка. Приносит

пустую форму для пирога и спрашивает, можно ли на минуту.

— Конечно, — говорит мать и достаёт четвёртую тарелку.

Соседка видит меня, прижимает ладонь к груди.

— Уже ходишь.

— С некоторым дополнительным оборудованием.

— Всё шутишь.

Раньше это тоже считалось шуткой. Теперь для неё достаточно, чтобы я произнёс слова и не умер.

Мать отрезает соседке мясо. Соседка садится в пальто, потом снимает пальто, потом вспоминает о пакете на лестнице. Мать идёт за пакетом. Там замороженная рыба. Рыба помещается в материнскую морозилку до окончания минуты.

Сорок движется по кухне вслед за матерью. Когда она наклоняется к нижнему ящику, число опускается, сохраняя аккуратную вертикаль. Я отвожу глаза к тарелке.

Следом приходит мужчина с первого этажа. У него не печатает квитанции телефон. Именно так он это формулирует. Мать зовёт Сельму, потому что я болен. Сельма вытирает руки, берёт телефон и спрашивает, где он обычно печатает.

— У дочери, — отвечает мужчина.

— А принтер сейчас где?

— У дочери.

Мать предлагает ему кофе.

Он остаётся у двери кухни, пока не замечает свободный стул. Я сдвигаю свою пятку, чтобы он не ударился о неё бо-

тинком.

— Сорок, — говорю я.

Мать оборачивается.

— Что сорок?

— Минут мясо ещё готовилось?

— Двадцать. Оно мягкое?

Я разрезаю кусок боковой стороной вилки.

— Мягкое.

Мать успокаивается. Соседка рассказывает, кому теперь передают ключ от общего сушильного помещения. Мужчина хочет записать номер дочери на бумаге, чтобы Сельма объяснила ей про телефон. Сельма говорит, что звонить не нужно: файл уже отправлен.

Я ем свёклу. Она окрашивает картофель по линии соприкосновения.

Когда мне исполнилось семь, мать тоже приготовила больше, чем требовалось.

Она напекла на двадцать гостей. Булочки с корицей стояли на двух противнях, маленькие пирожные — на блюдах. На каждом была половинка вишни. Мне разрешили разложить салфетки. Я пересчитал их три раза, потому что двадцать первая всё время оставалась лишней. Мать сказала, что это для неё.

Гостей пригласили к трём.

В половине третьего я уже стоял у окна. С подоконника было видно дорожку и часть остановки. Я взял лист и каран-

даш. Хотел отмечать пришедших, чтобы потом никого не забыть поблагодарить.

Первой пришла девочка из класса. Её привела мать. Пока взрослые разговаривали в прихожей, девочка отковыряла вишню с пирожного и положила мне на салфетку. Она не любила вишни.

Я поставил палочку.

Вторым пришёл мальчик. Он принёс коробку карандашей, такую же, как у меня уже была. Я сказал, что такой у меня нет. Мать заранее объяснила, что это положено говорить про подарки.

Я поставил вторую палочку.

Мы построили дорогу из деревянных деталей. Дорога кончилась, а деталей осталось много. Я предложил подождать остальных: вместе можно было построить город.

Мальчик хотел есть. Девочка спросила, когда торт.

Мать велела начинать.

Я ел стоя у окна. С каждого автобуса выходили люди, которых я сначала принимал за нужных. Если шёл ребёнок, я поднимал руку раньше, чем видел лицо. Потом делал вид, что поправляю занавеску.

В четыре мать зажгла свечи.

Я попросил ещё десять минут.

Она подождала. Потом свечи пришлось заменить: они слишком сильно оплыли.

Девочка ушла первой. За мальчиком пришли в пять. Я

не вычеркнул их палочки. Если вычеркнуть, получилось бы, что никто не приходил.

Мать мыла посуду и несколько раз говорила, что по воскресеньям у людей семейные дела. Я предлагал перенести день рождения. Она отвечала, что он уже прошёл.

Вечером я спросил, можно ли убрать две лишние тарелки, а остальные оставить до завтра.

Она выключила воду.

Я объяснил: вдруг они перепутали день.

Мать долго вытирала одну чашку. Я стоял возле стола и старался не смотреть на неё, потому что тогда она могла решить, что я плачу. Я не плакал. Только не мог проглотить кусок булочки, который держал за щекой.

На следующее утро салфеток на столе уже не было. Булочки лежали в пакетах. Мать разнесла их соседям.

Сейчас она собирает мне еду с собой в три контейнера.

— Этот разогревать без крышки, — говорит она Сельме.

— Я слышу, — говорю я.

— Хорошо. Этот без крышки.

Соседка придерживает раскрытый пакет. Мужчина с первого этажа несёт из кухни костыли. Один ставит мне под левую руку, второй под правую. Получается лучше, чем с телефоном.

У двери мать притягивает меня к себе и целует в щёку. Я чувствую запах жаркого на её рукаве.

— Приезжайте в следующее воскресенье.

— Посмотрим, — отвечаю я.

— Что там смотреть. Есть всё равно надо.

Сельма берёт пакет. Мать машет нам до поворота дорожки. В оконном стекле за её плечом отражается кухня. Там ещё сидят люди.

* * *

Вечером Каспер присылает сообщение: «Твоё место никто не занял. Оно неудобное».

Я отвечаю, что могу ненадолго.

Он пишет: «Дольше ты и раньше не выдерживал».

В «Якоре» липкий стол у стены. Из динамика над стойкой идёт музыка, которую можно узнать только по припеву. У Каспера перед собой пиво и маленький стакан воды. По воде видно, что меня ждали.

Каспер. Семь.

Он встаёт, отодвигает стул и принимает костыли, не касаясь меня.

— Отлично выглядишь.

— Ты пьян?

— Пока нет. Это дружба.

Он поворачивает соседний стул сиденьем ко мне. Я кладу на него ногу.

— Если надо будет в туалет, свистни.

— Ты проводишь?

— Освобожу дорогу. Могу кричать, что несут стекло.

Я смеюсь. Сначала осторожно: от смеха тянет бок. Потом

нормально.

Каспер заказывает мне безалкогольное пиво, хотя я ещё ничего не прошу. Помнит про таблетки. Себе берёт второе обычное.

Он рассказывает, как бывшая жена попросила забрать остатки вещей. Остатками оказались два пакета проводов и надувной матрас без насоса. Насос остался у неё.

— Раздел имущества прошёл в её пользу, — говорит он. — Теперь я владею потенциалом спального места.

— Насос можно купить.

— Я хотел, чтобы ты был на моей стороне.

Он вытирает круг под стаканом рукавом. Круг появляется снова.

Мы знаем друг друга со школы. Этого достаточно, чтобы некоторые разговоры не требовали начала. Он может двадцать минут рассказывать про насос. Я могу двадцать минут слушать. Раньше я считал это потерянным временем, но всё равно приходил.

У стойки мужчина в светлом свитере давится кашлем. Каспер поворачивает голову.

— Этот.

Я смотрю на него.

— Что этот?

— Сегодня мой кандидат. Уже работает над результатом.

Наша игра. Кто умрёт первым из посетителей «Якоря». Никакого тотализатора: выплаты невозможно проверить,

большинство участников мы видим один раз. Иногда выбираем друг друга. Это помогает не задерживаться на очевидных ответах.

Над мужчиной у стойки одиннадцать. Он допивает воду, показывает бармену большой палец. Рядом женщина похлопывает его по спине с такой силой, что причина смерти ещё может измениться.

— Не он, — говорю я.

— Обоснуй.

— Он просто поперхнулся.

— Именно так всё начинается. Твоя очередь.

Я осматриваю зал. Серые числа над столами. У человека, который режет хлеб ножом для стейка, — два. У женщины в жёлтом шарфе — восемнадцать. Я не знаю, кто умрёт раньше. Зато теперь вижу, что после этого придётся делать остальным.

Каспер ждёт.

— Сегодня пропускаю.

— Из-за того, что ты теперь профессионал?

Он улыбается. Я пытаюсь ответить тем же. Не получается.

Каспер перестаёт крутить стакан.

— Ладно. Дурацкая игра.

— Раньше тебе нравилась.

— Раньше у тебя было две штатные ноги.

Он берёт меню и раскрывает между нами, хотя мы оба знаем его наизусть.

— Картофель?

— Не хочу.

— Мне одному много.

— Ты всегда доедаешь.

— Арвид, не мешай человеку сделать благородный жест за шесть восемьдесят.

Картофель приносят в металлической корзинке. Каспер просит вторую салфетку, сворачивает её и подкладывает под ручку, чтобы я не обжёгся. Делает это посреди рассказа о том, как искал насос, и продолжает говорить, не глядя на свои руки.

Я ем одну палочку. Потом ещё одну.

— Спишь? — спрашивает он.

— Иногда.

— Со светом?

— Бывает.

Он кивает, как будто уточнил время следующего автобуса.

— У меня телефон ночью со звуком. Теперь. Так что можешь звонить.

— Зачем?

— Расскажешь, сколько стоит бетон. Я сразу отключусь.

Я беру стакан обеими руками. На стекле остаются следы пальцев.

Семь держится над его головой, пока он наклоняется за упавшей салфеткой. Когда Каспер выпрямляется, я всё ещё смотрю туда.

— Что?

— Ничего.

— У тебя это теперь частый ответ.

Он не требует другого. Спрашивает, вызвать ли машину сейчас или через десять минут. Я выбираю десять.

Мы сидим ещё двадцать три.

* * *

Во вторник меня приглашают в офис дать объяснения.

Приглашают — слово из письма. Время назначено, кабинет указан. Внизу просят подтвердить получение. Пространство для свободного выбора составляет одну кнопку.

В переговорной слишком низкое кресло. Я остаюсь на стуле у торца. Передо мной ставят воду и диктофон. Сотрудница, которая будет записывать ответы, спрашивает полное имя. Она знает его, но должна спросить.

Кроме неё за столом руководитель проекта и мужчина, которого представляют специалистом по охране труда. У каждого распечатка. На моей стороне стола бумаги нет.

— Это внутреннее установление обстоятельств, — говорит руководитель. — Нам важно точно восстановить последовательность.

Я называю время приезда. Восемь сорок.

— Откуда такая точность?

— Посмотрел на часы перед тем, как выйти из машины.

— Вы отметились у входа?

— Не успел. Прораб сказал расписаться на обратном пути.

Сотрудница поднимает голову. Руководитель смотрит в свою распечатку.

— Это нужно указать, — говорит специалист.

— Я указываю.

Мне предлагают рассказать с начала. Я рассказываю. Расхождение в восемнадцать квадратных метров. Приехал проверить на месте. Прошёл с прорабом. Услышал треск.

— До треска были замечания по конструкции?

— Я проверял площади.

— Визуально что-нибудь привлекло внимание?

— Нет.

Сотрудница печатает. Клавиатура громче моего голоса.

— Кто согласовывал последнюю редакцию расчёта? — спрашивает специалист.

Руководитель передвигает бутылку воды.

— Сейчас мы говорим о перемещении Арвида по объекту.

— Я понимаю. Но основание для выезда — документация.

— В документации расхождение по площади, — говорю я.

— Мы это зафиксировали.

Никто не задаёт следующий вопрос. Сотрудница перестаёт печатать. В коридоре катят тележку с посудой, чашки на ней мелко дребезжат.

Потом меня спрашивают, где стоял прораб в момент обрушения. Я не видел. Кто ещё находился рядом. Не знаю. Могу ли указать место на плане. Примерно.

План поворачивают ко мне. Я узнаю линии, размеры, обо-

значение проёма. Кладу палец туда, где, по моим расчётам, должен был стоять. Палец закрывает сразу несколько квадратных метров.

— Лучше ручкой, — говорит сотрудница.

Я рисую крест.

Специалист обводит его пунктиром.

В распечатке моих объяснений написано: «После обрушения установил речевой контакт с рабочим».

— Его звали Томаш, — говорю я.

— Имя можно добавить.

Она добавляет. Строка переносится. Из-за имени для подписи приходится печатать ещё одну страницу.

Я читаю всё дважды. Про смету остался только повод приезда. Вопроса о согласовании нет.

— Это пока всё? — спрашиваю я.

— Если понадобится уточнить, мы свяжемся.

Я подписываю обе страницы. Специалист ставит передо мной воду ближе, но бутылка всё ещё запечатана.

У лифта руководитель догоняет меня.

— В пятницу приходи. На вечер.

— Я ещё на больничном.

— Там работать не надо. Квартал закрываем. Посидишь со своими.

Он придерживает створку, пока я переставляю костыли.

— Тебе полезно немного отвлечься.

Лифт закрывается раньше, чем я решаю, что на это отве-

тить.

* * *

Квартал закрывают в той же переговорной. Диктофона нет. На его месте миска с оливками.

Стулья сдвинуты к стенам. В углу коробки с вином, рядом минеральная вода. Фирма закупает бутылки целыми упаковками, поэтому сегодня вода представлена убедительнее, чем на расследовании.

Мне оставляют место у окна. Под ногу приносят пуф из приёмной. Тот самый, на котором посетители ждут, пока выясняется, ждали ли их.

Руководитель говорит несколько слов. О непростом времени. О людях, благодаря которым мы продолжаем работать. После короткой паузы просит помнить о погибшем коллеге. Все стоят. Я тоже пытаюсь подняться, но женщина рядом кладёт ладонь мне на плечо.

— Сиди.

Я сижу, пока остальные держат бокалы на уровне живота. Потом кто-то говорит, что горячее остывает. Минута заканчивается.

Меня спрашивают о ноге. Шесть раз. На четвёртом я начинаю отвечать числом недель, которое назвал врач. Это удобно и никого не обязывает слушать.

Женщина из бухгалтерии приносит мне тарелку. Я благодарю. Она спрашивает, не хочу ли я вторую вилку: этой она случайно коснулась своей салфетки. Я говорю, что первая

подойдёт. Она всё равно меняет.

Разговор у окна касается подарка сотруднице, которая уходит на пенсию. Кто-то предлагает собрать поровну, кто-то — по отделам. Я замечаю, что тогда сумма зависит от численности отдела, а подарок один.

— Вот, — говорит мужчина с расстёгнутым воротником. — Арвид вернулся. Сейчас распределит нам старость по статьям.

Он уже выпил достаточно, чтобы обращаться ко всему помещению через одного человека.

— Можно просто назвать сумму, — говорю я.

— Нельзя просто. Надо же, чтобы справедливо. У нас Арвид за справедливостью смотрит.

Несколько человек смеются. Я тоже двигаю губами. Мужчина наливает себе ещё, закрывая этикетку ладонью.

— Цветы отдельно? — спрашивает бухгалтер.

— Отдельно, — отвечаю я.

— А доставку? А открытку? — подхватывает мужчина. — Ты и там всех пересчитаешь?

Он ставит бутылку на стол и поворачивается ко мне всем корпусом.

— Кто придёт на твои похороны, Арвид?

Вопрос оказывается удачным. Смеются у стола, потом у двери, куда он долетает без начала разговора. Бухгалтер прикрывает рот новой салфеткой. Руководитель опускает глаза в бокал и тоже смеётся.

Я держу тарелку на коленях. На краю лежит хлеб, под хлебом вилка. Чтобы положить тарелку, нужно попросить кого-нибудь встать.

— Нет, серьёзно, — говорит мужчина. — Ты хоть список составил?

За окном темно. Освещённая переговорная отражается целиком: стол, бутылки, чужие плечи. Я сижу между двумя стоящими людьми, и сначала места над моей головой не видно.

Потом бухгалтер отходит за водой.

Ноль.

— Ну? — спрашивает мужчина.

Я открываю рот. В стекле человек с тарелкой делает то же самое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.